

ВЗГЛЯД НА МОЮ ЖИЗНЬ

Фрагменты мемуарных записок

ВВЕДЕНИЕ

С лишком шестидесяти лет я решился описать некоторые события, имевшие более или менее влияния на мою нравственность, на самое положение мое в обществе.

Может быть, со временем записки мои будут известны; может быть, некоторые из читателей моих обвинят меня в том, что я, скудный в делах и мыслях, по самолюбию моему мечтал равняться с значительными людьми и подобно им продлить о себе память.

Предупреждаю их, что совсем другие причины управляли пером моим: я и в молодых годах не бывал слишком рассеян. Вместо всedневных посещений театров, балов и многолюдных собраний любил более прогулки пешком и без товарища по загородным полям, по городским улицам, на площадях, где толпится народ; любил везде быть свободным невидимкою или сидеть за книгою, иногда же проводить время в кругу двух-трех приятелей по мыслям и по сердцу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КНИГА ПЕРВАЯ

Отчизна моя Симбирская губерния. Я родился в 1760 году, сентября десятого дня, в родовом нашем поместье, селе Богородском, в двадцати пяти верстах от окружного города Сызрана. На осьмом году возраста отвезен был родительницею моею в губернский город Казань к отцу ее, отставному полковнику Афанасью Алексеевичу Бекетову, и отдан в тот же пансион, в котором уже с год находился старший брат мой Александр, обучаться французскому языку, арифметике и рисованию.

Теперь уже и по самой необходимости стал еще более домоседом: ноги отказываются служить мне, глаза мои тоже; старые связи перевелись; новые завести трудно и непрочно. Пришлось искать занятий в самом себе и доживать воспоминанием.

Итак, приступая к моим запискам, я хочу разделить их на три части: в первой брошу взгляд на мое детство и воспитание; сказав несколько слов об моем юношестве, пройду лучшую часть авторской моей жизни; упомяну о литераторах и поэтах, отличавшихся в то время на поприще нашей словесности. Исполню долг, приятнейший для благородного сердца, посвятить несколько строк и воспоминанию о тех, которые любили только меня со всеми моими недостатками и поучительным примером нравственной жизни своей были мои благодетели. Во второй и третьей опишу достопамятные для меня случаи в продолжение гражданского моего служения.

Москва, 1823 г. Июля 20-го дня.

В следующем году скончалась моя бабка, которой мать была природная шведка. Дед мой решился несколько месяцев прожить в Симбирске, бывшем тогда еще провинциальным городом Казанской губернии, чтобы в горести своей иметь отраду быть вместе с моею матерью и одним из сыновей своих. Уговорили и учителя нашего перевести свой пансион туда же; но его существование там продолжалось не далее 1772 года.

Учитель мой г. Манжень, французский мещанин, застал в Симбирске другой пансион, заведенный Лорансенем, бывшим французским офицером. Между обоими началось соперничество: ученики переходи-

ли от одного к другому. Кроткий Манжень, устав бороться с совместником, исполненным еще военного духа, закрыл свой пансион и съехал в деревню к богатому казанскому помещику Макарову, обучать его сына, бывшего впоследствии игрой фортуны и одним из остроумных наших писателей. Это Петр Иванович Макаров.

Прибавлю к слову, что некогда у того же Манжени обучался в детских летах и Михайло Никитич Муравьев, когда отец его жил в Казани. Учитель наш истощался пред нами в похвалах образцовому своему ученику, с жаром рассказывал нам о его добронравии, прилежности к учению, об его редкой памяти, и я, бывши еще отроком, начал уважать будущего писателя.

Около года пробыл я без учителя. Потом отдан был в новый пансион к г. Кабриту, отставному нашей службы поручику, воспитаннику Сухопутного кадетского корпуса. Впоследствии он уже был правителем канцелярии наместника Игельстрома и умер в Москве отставным надворным советником. В этом пансионе обучался я с старшим братом языкам французскому и немецкому, русскому правописанию и слогу, истории, географии и математике. Признаюсь, что я до того времени считался в последнем классе самым тупым учеником. От прежнего учителя моего, гарнизонного сержанта Копцева, я только и слышал непостижимые для меня слова: искомое, делимое; видел только на аспидной доске цифры и сам ставил цифры же наудачу, без всякого соображения; потом с робостию представлял учителю мою доску; он осыпал меня бранью, стирал мои цифры, ставил свои, и я спешил тщательно списывать их красными чернилами в мою тетрадку. Таким образом оканчивался каждый урок мой в математике, но под руководством Кабрита я начал понимать всю важность этой науки и в три месяца успел в ней более, чем у прежнего учителя Копцева в продолжение года.

Кабрит был очень мил в обращении с нами: во время уроков часто давал нам отдыхать, позволяя предлагать ему вопросы, всегда охотно отвечал на них, и сообщал между тем какие-либо полезные сведения; в детстве мы обыкновенно прельщаемся воинским нарядом: он объяснял нам обязанности чинов, рассказывал иногда военные анекдоты и знакомил нас с отличными того времени полководцами. Я любил и слушать его, и ему повиноваться. Никакой урок его не был мне в тягость. Особенно же я охотно занимался историческим и сочинением писем по его темам. Хотя и стыдно мне было иногда слышать смех учителя и старших учеников, когда я прочитывал белух сочиненную мною нелепость, но мысль, что я учусь сочинять, и надежда научиться писать лучше успокаивали оскорбленное мое самолюбие.

Учение мое и здесь недолго продолжалось. Дошли до отца моего слухи, что умный и добрый Кабрит, которому тогда было 26 лет, платил дань слабостям своего возраста. Он испугался последствия худых примеров и взял нас из пансиона. Итак, на одиннадцатом году моей жизни прекратился решительно курс моего учения, когда я во французском языке не дошел еще до синтаксиса, а в немецком остановился на глаголах.

По выходе из пансиона я проживал при отце моем по несколько месяцев в деревне во ста верстах от Симбирска и пользовался свободою гораздо мень-

ше, чем в пансионе. Отец мой заставлял меня с братом под строгим своим надзором повторять старые наши уроки. Часто сам прослушивал нас в грамматике французской и немецкой; заставлял выучивать наизусть школьные (*Colloquia scholastica*) и домашние разговоры, изданные на грех языках еще в царствование императрицы Анны; или переводить из старинного же «Собрания писем» Буатюра, Костара и Бальзака (да не встревожатся этим словом нынешние добровольные наши судьи в журналах!), отысканного им также в своей библиотеке.

Такой ход учения наводил на меня грусть и отвращение; тем более, что я уже с десяти лет набил голову мечтательными приключениями. В бытность мою еще в первом пансионе я уже прочитал «Тысячу и одну ночь», «Шутливые повести» Скаррона, «Похождения Робинзона Круза», «Жильблэза де Сантилана», «Приключения маркиза Г***». По этой книге я получил первое понятие о французской литературе: читая, помнится мне, в третьем томе описание ученой вечеринки, на которую молодой маркиз и наставник его приглашены были в Мадриде, в первый раз я услышал имена Мольера, Буало, Лопец де Вега, Расина и Кальдерона, критическое о них суждение и захотел узнать и самые их сочинения; этому же роману обязан я и тем, что начал понимать и французские книги.

Дочитав четвертый том «Похождений маркиза Г***», узнал я, что последних двух томов еще нет в переводе. Это навело на меня грусть; сколько раз я вздыхал, что пришло мне оставаться в неизвестности об участи моих героев. «Не отчаивайся, — сказал мне однажды г. Руцкой, всегдашний наш гость и лекарь бывшего Московского Легиона, стоявшего тогда в Симбирске, — я пороюсь в моих французских книгах, не найду ли в них пятого и шестого тома». И что же? На другой день принес мне их в подарок! Как я был доволен! Этот день был для меня праздником! Но радость моя была минутная: в первый же вечер схватил я пятый том, пробежал в нем первую страницу, и понял только несколько слов, изредка легкую фразу, и не мог еще понимать полного содержания периода. Но чего не превозмогают настойчивость и терпеливость? Я положил, с помощью вояжирова лексикона, непременно прочитать от доски до доски оба тома. Приступая к исполнению, я день ото дня стал понимать более; при чтении шестого тома уже я почти не имел нужды в лексиконе. Наконец, этот отважный подвиг был для меня эпохой, с которой начал я читать французские книги уже не поневоле, а по охоте и впоследствии уже мог переводить Лафонтена.

Чтение романов не имело вредного влияния на мою нравственность. Смее даже сказать, что они были для меня антидотом противу всего низкого и порочного. «Похождения Клеветанда», «Приключения маркиза Г***» возвышали душу мою. Я всегда пленялся добрыми примерами и охотно желал им следовать.

Однажды, ехав из деревни в Симбирск, я сидел в коляске с моим братом; он молчал, и я тоже, окидывая между тем глазами с обеих сторон поля, дубравы и селения; вдруг пришло мне на мысль, отчего я так долго молчу и ни о чем не рассуждаю? Помню из книг, что молодой маркиз дорогою рассуждал в коляске с своим наставником; барон Пельниц с своим сыном, и Дон Фигероазо, или Уединенный Гишпанец, также

с своими детьми; отчего же никакие предметы, никакой случай не возбуждают во мне размышлений? «Конечно, оттого, — думал я, — что они были умнее». При этом замечании мне стало грустно.

Еще в том же возрасте стал я знакомиться и с русской поэзией. Матушка любила стихотворения А.П. Сумарокова. Живучи в Петербурге, она лично знала его. Поэт был в коротком знакомстве с родным братом ее, Никитою Афанасьевичем Бекетовым. Не считая трагедий «Гамлета», «Хорева», «Синава и Трувора» и «Аристыны», полученных ею в подарок от самого автора, она знала наизусть многие из других его стихотворений. Мне очень памятна минута, когда она в деревне пересказывала оду его, посвященную Петру Великому. Матушка сидела на канаве за ручною работою, а старший брат мой против ее на подножной скамеечке, и, держа на коленях лист бумаги, он записывал карандашом стих за стихом; я же, стоя за ним, слушал с большим вниманием, хотя и не все понимал — это было еще до вступления нашего во второй пансион, и тогда я едва ли не в первый раз услышал имена Париса и Авроры, — но помню, что при одном произношении слов «златого века», «утешения» я находил в этих стихах какую-то неизъяснимую для меня прелесть, гармонию и после несколько раз упрасивал брата повторить их, чтобы я мог вытвердить их наизусть.

С каким удовольствием вспоминал я эти стихи и вместе мое детство, когда чрез несколько лет после того, бывши унтер-офицером в петергофской команде, увидел я в первый раз Монплешир и открытое море! С той минуты, пока находился в Петергофе, почти всякое утро я встречал восходящее солнце у домика Петра Великого. Опершись на балюстраду или перилы, то глядел я на синее море, на едва видимый флот с кронштадтской рейды, то оборачивался к домику, осененному столетними липами, и мысленно повторял, уже с благоговейным умилением не к стихам, но к виновнику вдохновения:

*Домик, что при самом море,
Где Парис в златой жил век,
Собеседуя Авроре,
Утешением нарек.*

Столь же приятно мне вспоминать один вечер великой субботы, проведенный отцом моим посреди нашего семейства за чтением. Это также происходило в деревне, уже по выходе моем из последнего пансиона. В ожидании заутрени отец мой для прогнания сна вынес из кабинета собрание сочинений Ломоносова первого московского издания и начал читать вслух известные строфы из Иова; потом «Вечернее размышление о величестве божием», в котором два стиха:

*Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна...*

произвели во мне новое, глубокое впечатление. Чтение заключено было «Одою на взятие Хотина». Слушая первую строфу, я будто перешел в другой мир; почти каждый стих возбуждал во мне необыкновенное внимание, хотя и неизвестно мне еще было, о какой говорится горе:

*Где ветер в лесах шуметь забыл,
В долине тишина глубокой;
Внимая нечто, ключ молчит и проч.
Потом третий стих в девятой строфе:
Мурза упал на долгу тень, —*

полюбился мне верностью изображения. Тогда пришло мне на память, как, бывши еще ребенком и гуляя с мамкою по двору, забавлялся видом долгой тени своей. Но последние четыре стиха девятой строфы:

*Над войском облак вдруг развился,
Блеснул горящим вдруг лицом;
Омытым кровию мечем
Гоня врагов, Герой открылся...*

особенно же последние два в двенадцатой:

*Свилася мгла, герои в ней;
Не зрит их око, слух не чует... —*

исполнили меня священным благоговением. Я будто расторг пелены детства, узнал новые чувства, новое наслаждение и прельстился славой поэта.

С переездом отца моего из деревни в Симбирск он имел уже меньше досуга смотреть за нашим повторением старых уроков, а я более свободы читать все, что ни попадалось. У отца моего в гостиной всегда лежали на одном из ломберных столов переменные книги разных годов и различного содержания, начиная от «Велисария», сочинения Мармонтеля до указов Екатерины Второй и Петра Великого. Даже и «Маргарит» (поучительные слова) Иоанна Златоустого, «Всемирная история» Барония и Острожская Библия стали мне известны еще в моем отрочестве, по крайней мере, по их названиям. Мне позволено было заглядывать в каждую книгу и читать сколько хоч.

Последние два года моего отрочества протекли более в городе. Я уже находил удовольствие бывать чаще с моими родителями, особенно когда у нас случались гости, и вслушиваться в их разговоры. С гордостью могу сказать, что я вырос и состарился под шумом отечественной славы. Находясь в Казани, еще семилетним мальчиком я выбегал на нашу Сарскую улицу смотреть на проходящие отряды пленных польских конфедератов. Уже тогда затвержены были мною имена Пулавских, Потоцких и проч. С переселением нашим в Симбирск началась война с Оттоманскою Портою. Отец мой, получая при газетах реляции, всегда читывал их вслух посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцию о сожжении при Чесме турецкого флота. У отца моего от восторга перерывался голос, а у меня навертывались на глазах слезы.

Симбирские обыватели, сколько я могу судить по воспоминаниям, наслаждались тогда совершенною независимостью: от дворянина до простолюдина, никто не нес другой повинности, кроме поставки в очередь своего бутошника и по временам военного постоя. Последний мещанин или цеховой имел свой плодovitый при доме с «адик, на окне в бурачке розовый бальзамин и ничего не платил за лоскуток земли, доставшейся ему по купле или от прадеда. ...Первенствующие особы в городе были: комендант,

начальник гарнизонного батальона и воевода, первоприсутствующий по гражданским делам. Дворянство знало и уважало их по мере личных достоинств. Тогда еще не было в провинциях ни театров, ни клубов, которые ныне и в губернских городах разлучают мужей с женами, отцов с их семейством. Тогда едва ли кто понимал смысл слова: рассеяние, ныне столь часто употребляемого. Каждый имел свои связи не от трусости, не из корыстных видов, а по выбору сердца. Таким образом жил и отец мой.

Почти ежедневное общество его состояло из трех коротких приятелей, умных, образованных и недавно покинувших столицу. Между ломбером, любимую тогда игрою, и ужином оставалось еще довольно времени для разговоров. Я бывал, так сказать, весь внимание. Всякий вечер новые сведения; слушивал о бывшем Италиянском театре Локателли и Бельмонти, о иггранных на нем интермедиях и больших операх, о игре Дмитревского и Троепольской; часто вспоминаемы были анекдоты о соперничестве Ломоносова с Сумароковым, о шутках последнего на счет Тредьяковского; судили об их талантах и утешались надеждою, которую подавал тогда молодой Д.И. Фонвизин, уже обративший на себя внимание комедией «Бригадир» и «Словом по случаю выздоровления наследника Екатерины». Иногда разговор нечувствительно принимал тон важный: сетовали об участи Москвы, где свирепствовало моровое поветрие, судили о мерах, принимаемых против него светлейшим князем Орловым, или с таинственным видом, вполголоса, начинали говорить о политических происшествиях 1762 года; от них же восходили до дней могущества принца Бирона, до превратности счастья вельмож того времени, до поразительного видения императрицы Анны и пр. и пр. Таким образом еще на двенадцатом году моей жизни я набирался сведениями для меня не бесполезными. Таким образом проходили наши тихие вечера, и ни отец мой, ни его собеседники не предчувствовали того, что они вскоре оставят мирных своих пенатов, и вот по каким обстоятельствам.

Оренбургской губернии в козацком городке Яике, прозванном потом Уральском, появился донской козак, прозвищем Пугачев, под именем бывшего императора Петра Третьего. Он собрал нарочитое войско из тамошних Козаков ... и распространил ужас по всему краю. По случаю войны с Оттоманскою Портою почти все линейные полки были за границу Пугачев уже подходил к Оренбургу; так называемые крепостцы, огороженные тыном, уступали многолюдству; коменданты и офицеры в них предавались мучительной казни...

Все наше дворянство из городов и поместий помчалось искать себе спасения: каждый скакал туда, где думал быть безопаснее. Так и отец мой со всем своим семейством отправился в Москву. Собравшись наскоро, он только что мог доехать до места с теми деньгами, которые на тот раз в наличности у него были. С первых дней приезда уже он начал хлопотать о займе, не имея в столице почти никого знакомых кроме земляков, таких же изгнанников, кои сами нуждались.

В столь тесных обстоятельствах отцу моему, конечно, было не до того, чтоб думать о продолжении нашего ученья. По крайней мере, я и брат мой еще более пристали к «чтению русских книг всякого рода». В

выборе их руководствовал нас крепостной служитель богатого заводчика Ивана Борисовича Твердышева Дорофей Серебряков, обучавшийся на иждивении господина своего в Славено-греко-латинской Академии при Заиконоспасском монастыре латинской и русской словесности, а потом у лучших московских докторов врачебному искусству. Известный лирик Василий Петрович Петров был учителем его в красноречии и поэзии. Дорофей часто принашивал нам в листочках оды и другие случайные стихи своего учителя и досадовал на меня, что я находил язык Петрова тяжелым и неблагозвучным. Мне казались даже смешными рифмы его: многоочита, сердоболита, хребтощетинный, рамы, пламы и тому подобные. Тогда я не имел истинного понятия о сущности поэзии и заключал ее в одной только чистоте слога и гармонии. Помню, что Дорофей однажды рассказывал нам, как он в летние вечера хаживал за поэтом по Кремлю с карандашом в руках и свернутым листом бумаги. Там переводчик Вергилия, окруженный величавыми памятниками и живописными видами отдаленного Замоскворечья, расхаживал взад и вперед, надумывался и сочинял оду на карусель. Это стихотворение сделало его известным Екатерине и приобрело ему приязнь Г.А. Потемкина и покровительство графа Г.Г. Орлова, бывших потом светлейшими князьями. Дорофей читывал нам его послания к Первому, когда он еще был камер-юнкером и после генерал-майором. Поэт называл его своим другом. Тот же тон сохранил он и в позднейших стихах, когда воспеваемый им был уже на высокой степени могущества и славы.

В то же время познакомился я с сочинениями и других наших писателей: Хераскова, Майкова, Муравьева, бывшего тогда еще гвардии Измайловского полка каптенармусом, но уже выдавшего «Собрание басен», «Похвальное слово Ломоносову» и стихотворный перевод с оригинала Петрониевой поэмы «Гражданская брань». Между тем слушал я иногда привозимые к отцу моему стихи Сумарокова. Это уже были последние искры угасающего таланта; но тем с большим участием передавали их из рук в руки. Посещение книжных лавок было любимой моей прогулкою; большая часть их закрывала собою от Воскресенских ворот древнюю церковь Василия Блаженного.

Родители мои хотели, чтоб я и брат мой получили понятие и о театре, бывшем тогда еще вольным. Знакомство мое с ним началось италиянскою оперою-буфя; потом, в первый раз отроду, я увидел и народную комедию «Так и должно». Сочинитель ее Михайло Иванович Веревкин, бывший некогда директором гимназии, когда обучался в ней Державин. Он соревновал Д.И. Фонвизину. Комедия его была играна несколько раз сряду, и всегда к удовольствию зрителей.

Чрез несколько месяцев пребывания нашего в Москве прошли слухи, что губерния наша уже вне опасности; что мятежники отбиты от Оренбурга и взяли направление к Дону. Мать моя с меньшими детьми отправилась в отчину, а отец наш с старшим братом моим и со мною остался весновать, чтобы с первым путем отпустить нас при себе в Петербург для явки в действительную службу. Теперь к слову пришлось сказать, что мы, по тогдашнему обыкновению, еще в малолетстве, в 1772 году, записаны были гвардии в Семеновский полк солдатами и уволены в от-

пуск до совершенного возраста.

Итак, в первых днях мая 1774 года мы уже находились посреди прекрасного Петербурга, но где не было ни одного нам родного дома. Из порядочного московского дома переселились в низменный солдатский домик с платежом по рублю пятидесяти копеек на месяц. На другой день нашего новоселья явились мы с нашими паспортами к полковому майору Евгению Петровичу Кашкину и по приказу его помещены были в полковую школу. В ней обучали только математике, рисованию и на русском языке священной истории и всеобщей географии. Мы с первых недель уже заслужили от рисовального учителя одобрение к переводу во второй класс, но надобно было купить для употребления нашего кисти: учитель сам не удосуживался, а нам не доверял, и мы продолжали рисовать только глаза и уши. Доказательство, в каком состоянии была школа!

Но я недолго и в ней пробыл. ...Пугачев опять усилился. Он уже истребил многие дворянские семейства в Пензенской провинции; вступил в Казань. ...

Мы поражены были этим известием: полагали, что и Симбирск, отстоящий только в ста семидесяти верстах от Казани, не миновал равного жребия; к счастью нашему, вскоре потом порадованы были письмом от родителей. Видя близкую опасность, они вторично расстались с своею отчизною и прибыли в Москву. ... В конце года последовал мир с турками. Императрица вознамерилась торжествовать его в древней столице. Гвардия получила повеление готовиться к походу, назначено было с каждого полка по одному батальону. Многие малолетки из нашей школы, в числе коих и я с братом, стали просить о причислении к походному батальону. Снисходительный начальник, желая доставить радость отцам и матерям, уволил всех нас в месячный отпуск с тем, чтобы мы по приходе батальона в Москву явились к адъютанту для дальнейшего об нас распоряжения.

Итак, мы опять в Москве, и посреди родимого семейства. Но свидание мое с отцом было на короткое время: он отправился в Симбирск, а семейство еще осталось. Вторичный приезд наш в Москву был для нас как будто переходом из отроческого возраста в юношеский. Здесь я в первый раз начал знакомиться с обязанностями воинской службы. Все молодые охотники из полковой школы стали поочередно ходить на вести к адъютанту. Явиться к нему в семь часов утра, выстоять около часа против его уборного столика, выпить у начальника чашку чая и возвратиться домой; в случае же пожара, когда бы то ни было, узнать, где горит, и немедленно о том донести – вот и все, в чем состояла первоначальная моя служба.

В скором времени по прибытии нашем в Москву я увидел позорище, для всех чрезвычайное, для меня же и новое: смертную казнь. Жребий Пугачева решен. Он осужден на четвертование. Место казни было на так называемом Болоте.

В целом городе, на улицах, в домах, только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтобы мы ни на шаг от него не отходили.

Это происшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною верностью опи-

сать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось.

В десятый день января тысяча семьсот семьдесят пятого года, в восемь или девять часов пополудни приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут был эшафот, или лобное место, вкруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестокого мороза. Тут же находился и обер-полицеймейстер Н.П. Архаров, окруженный своими чиновниками и ординарцами. На высоте, или помосте лобного места, увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фронта все пространство Болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг всё восколебалось и с шумом заговорило: «Везут, везут!» Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной величины сани, и в них сидел Пугачев; насупротив духовник его и еще какой-то чиновник, вероятно, секретарь Тайной экспедиции. За санями следовал еще отряд конницы.

Пугачев, с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в чертах лица его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином.

Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновников едва взойшли на эшафот, раздалось повелительное слово: на караул, и один из чиновников начал читать манифест; почти каждое слово до меня доходило.

При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» Он отвечал столь же громко: «Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев». Потом, во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знаменем несколько земных поклонов, обратиться к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрешил пред тобою; прости, народ православный!» При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтаны. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же.

Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то похожее на притворство и сам осуждал себя. Как скоро Пугачев готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы не видеть взмаха топора:

чувствительное сердце его не могло выносить такого позорища. Я притворно показывал то же расположение, но между тем, украдкой, ловил каждое движение преступника. Что ж этому было причиной? Конечно, не жестокость моя, но единственно желание видеть, каковым бывает человек в толь решительную, ужасную минуту...

Мать моя со всем семейством отправилась в отчизну, оставя меня с братом у родного нашего дяди Петра Афанасьевича Бекетова, в надежде перемены нашего звания. Ожидание наше было недолговременно: чрез ходатайство другого нашего дяди, сенатора Никиты Афанасьевича Бекетова, подполковник наш граф Брюс произвел нас, чрез чин, прямо в фурыеры. Потом мы получили годовой отпуск и отправились в деревню к нашим родителям...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На прощанье скажу несколько слов о себе и об том, как я сам оценивал авторские мои способности, и в чем полагаю истинное свойство и назначение поэта.

Я начал писать, не зная еще правил стихотворства, с 1777 и продолжал до 1810 года. Из этого круга времени, конечно, должно исключить четырнадцать лет, в продолжение коих стихотворствовал я, бывши знаком только с двумя стихотворцами, но и тем стыдился показывать мои рифмы. Посылал их в журналы от безымянного и, кроме одного поучительного случая, описанного мною в начале моих записок, ни по слухам, ни по журналам не знал, как об стихах моих судят. Стихотворствовал притом несколько лет посреди черствой службы, в малых чинах, между строями и караулами, в обращении с товарищами почти необразованными, в уголке тесного, низменного домика, чрез перегородку, разделяющую меня с братом, в шуму входящих и выходящих, не быв почти никогда, ниже на две минуты, в совершенном уединении.

Вся моя забота была только о том, чтоб стихи мои были менее шероховаты, чем у многих. Одну только плавность стиха и богатую рифму я считал красотою и совершенством поэзии. Но в то время у нас едва ли не так же думали не только читатели, но и самые первостепенные стихотворцы. Оттого стихи мои были вялы, бесцветны, без характера, жалкие подражания, почему напоследок и преданы от меня забвению и не вошли в первое издание «И моих безделок».

Равномерно должно исключить еще восемь лет, проведенных мною в гражданской службе. Тогда я не только не имел досуга, но даже и боялся развлекать себя стихотворством. Это была четырехлетняя быт-

ность моя обер-прокурором и столько же сенатором. Итак, выходит, что деятельная пиитическая жизнь моя продолжалась только одиннадцать лет.

Но упомянутые четырнадцать лет моего рифмования имели влияние и на последующие мои произведения. Привыкнув в молодости писать урывками, я не мог уже и в зрелом возрасте высидеть за бумагой около часа: нетерпелив был обдумывать предпринимаемую работу. При малейшем упорстве рифмы, при малейшем затруднении в кратком и ясном изложении мыслей моих я бросал перо в ожидании счастливейшей минуты; мне казалось унижительным ломать голову над парюю стихов и насиловать самого себя или самую природу.

Оттого, может быть, и примечается, даже самым мною, в стихах моих скудность в идеях, более живости, украшений, чем глубокомыслия и силы. Оттого последовало и то, что ни в котором из лучших моих стихотворений нет обширной основы.

Ныне трудно уверить, что я не домогался покровительства журналистов, не употреблял никаких уловок к распространению моей известности, не старался из зависти унижать самобытный талант в ком бы то ни было и никогда много не думал о стихах моих. Поверят или нет, совесть моя спокойна. Часто приходило мне даже на мысль, что я и совсем не поэт, а пишу только по какому-то случайному направлению, по одному навыку к механизму. Даже и тогда, когда писал уже не про себя, я думал, и в том убежден был, что кощунство, изображение картин, возмущающих непорочность, приветствия к Алиам без дара Катулла и Анакреона, даже дружеские послания, растворенные многословием, не принадлежат к достоинству истинного поэта.

Так! Я и теперь не переменяю моего мнения: поэзия, порождение неба, хотя и склоняет взор свой к земле, но — здесь она проникает во глубину сердец, наблюдает сокровенные их изгибы и живописует страсти, держась всегда нравственной цели, воспламеняет к добродетели, ко всему изящному и высокому, воспекает доблести обреченных к бессмертию. А там — изливается в удивлении к мирозданию, в трепетном благоговении к Непостижимому. Вот назначение истинной поэзии! Вот почему она и называется органом богов, а вдохновенный ею — поэтом.

Как бы то ни было, но я должен быть признателен к счастливой звезде моей: едва ли кто из моих современников преходил авторское поприще с меньшею заботою и большею удачею...

Москва, 1824.
Января 10-го дня.

